

Солнце навсегда

новелла

Из-за пристрастия к солнцу и натуральному освещению его палитра была похожа на многоглазую яичницу. Куски засохшей краски, соскребаемые тупым ножом, шумно падали на постеленную газету. Похожие на корочки апельсина, они образовывали арабески, смысл которых прочитывать было невозможно, но разглядывать хотелось до бесконечности долго, пока в глазах не встанет отчетливо и навязчиво сюжет для очередного полотна. Впрочем, в силу абстракций он никогда не верил.

Свою палитру Марсель не видел много месяцев. Любовно он гладил ее неровную поверхность чувственными пальцами, проверяя толщину слоя, который еще не был снят. Кое-где не высохла охра – самая пахучая и укрывистая краска. Обычно он смешивал ее с белилами и краплагом, отыскивая оттенок кожи, женской бархатистой кожи – самый главный сюжет своей живописи. Страстно, всегда, как в первый раз, он копировал игру света на шее, груди, тени на складках живота и блики на широких бедрах. Солнце, много солнца...

Ван Гог уже умер. Матисс еще не писал свои красные танцы. А живопись Климпта в Париже была едва ли известна. Марсель затерялся между ними, как раз в то время, когда художники стали делить мир на геометрические части, но делали это несмело, боясь потерять целое в частностях. Однако чувственность пастозных мазков им стала казаться чересчур романтической. Избегали они и плавных линий кисти, подобной графиту карандаша. Марсель оказался посередине – между солнцем, убивающим разум, и линией, заменяющей цвет и глубину.

...Под давлением кухонного ножа яичница стала тусклой, едва узнаваемой в светлом месиве остатков пигмента. Марсель выбросил газету с ошметками краски и стал думать. Он боялся, что на этом его работа сегодня закончится. Большой холст давно был натянут на подрамник и стоял на мольберте. Теперь и палитра очищена.

Возможно, это будет последняя в его жизни Всемирная выставка. Он не молод и вовсе не уверен, что хотел бы писать и дальше. Слишком трудно стало бороться за солнце, за желтых женщин. Когда-нибудь знатоки французского модерна так и будут говорить: “А, Марсель... Погодите, это тот помешанный на желтых телах? Малевал голых баб – куртизанок и богатых дамочек, жен тупых нуворишей? Да, лучше Марселя это вряд ли кто-то делал. Разве что Дега и ненавистный ему Тулуз Лотрек...”

Нет идеи. Нет идеи! Точнее, нет женщины.

Ах, сколько же их было! Марсель отошел к дивану и оглядел стены просторного салона, завешанного картинами. Пожалуй, вот эта лучшая. Здесь Марсель – уже зрелый мастер. Он подошел поближе, чтобы снова почувствовать ту женщину и уклад жизни, который давно оставил в прошлом вместе с кочеванием из одной мастерской в другую, денежными долгами и унижениями перед скупщиками полотен.

Это была молодая мексиканка, неплохо говорящая по-французски, наизусть читавшая в оригинале почти всего Бодлера. Свободное время она проводила в лачугах “нижнего” Монмартра, где снимали комнаты молодые нищие живописцы. Там они и познакомились. Она сразу переехала к Марселю, перетащив в грязную и тесную студию большое зеркало и томики французской литературы.

Он все время выпроваживал ее, а она кусалась, дралась и непристойно ругалась по-мексикански. Крики разносились по всему кварталу. Труднее всего было с большим и неудобным зеркалом. Такой хрупкий и громоздкий предмет не выбросишь за дверь во время ссоры.

Вопреки грубости и уговорам Марселя она почти не слезила с кровати вместе с Верленом, Рембо и Бодлером. Так и сидела целыми днями с книгами, поджав ноги. Она любила читать вслух, надеясь, что стихи и ее низкий хрипловатый голос доставят Марселю эстетическое удовольствие.

Наверно, у продажных женщин

Пресыщен счастьем каждый друг, -
А я ломаю плети рук,
С бесплотным призраком повенчан.

Непоправимая беда!

Мне свет созвездий отдаленных

Затмил в глазах испепеленных

Земное солнце навсегда...

- Марсель, ты слушаешь? Я – земное солнце! Посмотри на меня. – Она взъерошивала на голове волосы, убирала прядки с ушей, чтобы открыть новые сережки с огромными самоцветами. - Тебе не нравится?..

Переворачивая страницу, она продолжала, не сводя взгляда с Марселя:

Отвергнут жгучей красотой,

Я неопознанный исчезну,

И назовут одну лишь бездну

Моей могильною плитой .

Затем она делала паузу, словно прислушиваясь к шуму города за окном, и, не дождавшись, когда Марсель пробубнит что-нибудь в ответ, горестно восклицала:

- Ты меня не любишь!..

Он успел сделать с нее несколько карандашных набросков. И один портрет маслом – но это уже когда она болела. Да, она тяжело заболела и вскоре умерла в его же мастерской.

Беспомощной и вечно плачущей он и запомнил ее больше всего.

На картине она обнажена и вообще кажется жутко неприличной. Во всяком случае, в глазах благопристойной публики. Она сидит перед зеркалом, спиной к зрителю, но лицом к нему. Ее высокая грудь нарисована торчком, как у венерок, которых археологи до сих пор находят в местах стоянок древних людей. Грудь, налитая жизнью!

Ребра и талия мексиканки затянута в тугий корсет, который поддерживает поврежденный позвоночник. Нога на ногу. На затылке вьются смоляные кудри, волосы забраны. В неожиданном повороте отзывающейся на зов художника головы и туловища – все страдания, которые выпали на долю этой женщины за последние месяцы. Глаза – вишни, переспелые, готовые лопнуть от избытка южного солнца.

Зритель сначала видит грудь, потом корсет, похожий на те, что носят проститутки, и, ошеломленный ярким, агрессивным ню, наконец заглядывает женщине в глаза. И тогда ему становится стыдно.

Марсель взял стремянку и поставил вплотную к картине. Погладил красочный слой. “Да, здесь важен штрих, а не цвет. Пусть он скупой – черный, красный, смеси с охрой... Зато какая линия! Нервный и хлесткий мазок кисти как сама эта женщина”.

Она разбилась в омнибусе, сошедшем с рельс. Лекарств на ее лечение у Марселя не было.

И до мексиканки, и после нее женщин-натурщиц у Марселя перебивало немало. Но редко какая задерживалась надолго. Он любил жить один. Даже разбогатев на волне массового и несколько запоздалого для него интереса публики к современной живописи, и купив дорогой дом с просторной и солнечной студией, Марсель так и не женился. Он сравнивал себя с врачом, которому приходилось видеть слишком много женских болезней - много до тошноты, - но не старался их вылечить или ужиться с ними. Он лишь аккуратно зарисовывал увиденное, превращая в искусство не всегда интересные истории женских страстей и несчастий. В красочных смесях любая житейская тривиальность виделась уже не так скучно – не как водевильный диагноз, а как трагедия или комедия, достойные большой сцены. Раньше Марсель верил, что женский образ, перенесенный на полотно с подлинной правдивостью и искренностью, со всей экспрессией, которая присуща ему как художнику темпераментному, должен исправить, или “вылечить” оригинал. Он верил Аристотелю, который считал, что образ законченный, переживший очищение от страстей, умирает. Причем, думал он, кончается только образ, а натура остается – уже без “болезней”, снятых кистью художника. И все-таки жить без них он не мог. Марсель был драматургом до мозга костей. Рассматривая женщину на улице или за столиком в кафе, он мысленно рисовал ее, представляя, веселым ли

она была ребенком, любил ли ее отец, какие книги разрешали ей читать в юности, покупает ли ей подарки к Рождеству муж и насколько последний добросовестен в исполнении супружеских обязанностей. Потом представлял реакцию на его предложение позировать. Постепенно он научился предсказывать поведение самых разных по социальному положению и психологическому настрою женщин.

Кого он только не водил в свои салоны! Сначала - жен своих друзей, потом случайных посетительниц кафе-шантанов, эстетствующих завсегдатаек Брюссельского музея и Лувра, скучающих светских львиц, блудниц и вчерашних девственниц. Иногда он гулял с ними по городу, заглядывал в торговые лавки и модные салоны, помогал выбирать шляпки, заставляя мерить и ту и эту, наблюдал, как женщины вертятся перед зеркалом, ища в себе неотразимой красоты. Если женщина казалась ему замечательной, он позже делал наброски и раздаривал рисунки в знак благодарности.

С некоторыми из них он жил какое-то время. И брал все, что может сделать женщина для художника. Потом всегда бросал. Случалось это неизбежно. Женщины плакали, уходили, просили, умоляли, а Марсель, вдруг скупой на эмоции и странно окаменелый, молчал. И ловил момент. Он дожидался того часа, когда приходит настоящее вдохновение. И уже не видел слез, а только - чистый холст и образ женщины.

Марсель выталкивал его из себя так, словно из тюбика засохшую краску. Это не значит, что творца в нем было мало. Просто ему всегда оказывалось тесно в житейских рамках.

В совокупности в этих женщинах было все присущее им от природы и подаренное цивилизацией. Вот если бы он нашел такую натурщицу, в которой... Которая стала бы абсолютном женского начала!

Одна!

Венера, Валькирия, Суламифь, Орлеанская дева, Мона Лиза, госпожа Бовари, Анна Каренина...

Данные вдохновением. Была ли хотя бы одна из них в реальности? Разве что Мона Лиза, жена богатого Джоконды. И та прошла через мысль и воображение художника. Нет, ему не нужно того, что создано усилиями смертного демиурга. А кем же тогда? Бога?

Божеское. Божественное. Да, божественное!

- Вы настоящая женщина! – сказал он вслух и вдруг понял, что никогда раньше не говорил подобное. Неужели он пропустил ее мимо себя?

ADAM – имя, данное Богом человеку, равно мужчине и женщине. Адамова Ева, чье имя – не сущность жены мужа, невзрачный суглинок, а – дерево, вскормленное землей. Ева – это раскидистое дерево, изначально с непознанными плодами, а значит невинное, девственное. Марсель никогда не мог представить Еву, изгнанную из Эдема. Не из-за недостатка воображения - его хватало, - а потому что это казалось неинтересным. Ева, познавшая страх, ожидающая будущего как неотвратимого несчастья, неизбежного возвращения в глину, слишком тривиальна – это все человечество после первых людей. Сущность райского счастья – в отсутствии представления о времени. Ева не знала, что ее ждет, она жила настоящим мгновением, и не понимала, что оно уходит и на смену приходит другое. Блаженная, не испорченная ожиданием, скорбью и болью об уходящих днях, не имеющая памяти, – вот женщина, которая нужна была художнику.

Марсель уверил себя, что это и есть абсолют женского начала. И понимал, что никогда не найдет его. Разве что среди умалишенных.

Шли недели, а Марсель нисколько не приблизился к своему идеалу. Он ездил по монастырям, селам, сумасшедшим домам, ночлежкам, вернулся в монмартрские улочки, часами сидел в кафе и ресторанах... Он даже решил, что попытается нарисовать свою настоящую женщину так, по представлению.

Но однажды поиски закончились. Почему Марсель наконец решил сделать выбор, долгое время он и сам не мог объяснить.

- Господин Марсель? Здравствуйте!

- Добрый день, мадам. Мне нужна женщина.

- Давненько вы у нас не были. – В лице старухи было столько неприкрытого удивления, что Марсель невольно отвернулся. Он почувствовал себя вегетарианцем, вынужденным по состоянию здоровья возвратиться в общество мясоедов.

- Какая вам нужна?

- Пригласите всех.

Под длинным острым подбородком мадам N мышкой забегал кадык. Он замер на мгновение, когда из горла вырвалось раскатное, годами отшлифованное: “Де-евушки!”

В квадратном холле их собралось столько, что Марсель сначала растерялся. Он не любил, по его выражению, “цветового шума”. Сразу вспомнились слова недавно скончавшегося англичанина Уайльда. После каторги приятель уговорил его сходить к проституткам. “Ну как?” – спросил тот после. “Холодная баранина”, - ответил Уайльд.

- Это все?

- Не считая новенькой. Она сейчас больна.

- Позовите ее. – Марсель вздохнул, как покупатель в магазине, когда выбрать нечего, а уходить сразу не удобно.

- Жаннет!

Последовала пауза. Наконец дверь наверху открылась и появилась невысокая плотная женская фигура.

Жанна спускалась по лесенке, ведущей в комнаты, так, как будто и не собиралась идти к клиенту, а лишь направлялась по своим делам. Она шагала медленно, плавно, чем, кажется, раздражала мадам. Наконец подойдя близко к гостю, Жанна молча стояла, пока ее разглядывал незнакомец. Она словно позировала для фотографии, которая ей не нужна. Больше всего Марселя удивили ее руки: обычно женщины держат их у груди, или сзади, или перебирая платок, но не как нечто само собой разумеющееся. Опущенные вниз, вдоль бедер с длинными пальцами, сжатыми в кулак, так что большой палец прятался в пятерне, - руки Жанны казались безвольными, уставшими, лишенными жизни. И если бы не общая стать, уверенная и расслабленная поза, художник решил бы, что эта женщина действительно лишена жизни. Марсель не запомнил, куда она смотрела – в лицо ему или в сторону. Но взгляд потом пытался зарисовать: спокойный, равнодушный и мягкий, без тени брезгливости или покорности. Она просто ждала. И была сама по себе.

- Хорошо. Я пришлю к вам своего человека... - Марсель не хотел ничего говорить. С трудом заставив себя попрощаться и извиниться за беспокойство, он вышел.

Спустя неделю к мадам N пришел незнакомец. Поинтересовался самочувствием мадам Жанны (“Мадам Жанны”, - поправили его) и, узнав, что она выздоровела, попросил разрешения переговорить с нею. Когда Жанна спустилась, он сказал:

- Мадам, если вам нужны деньги, они будут у вас уже завтра. Единственная просьба, э-э..., отказаться от работы... Вот визитная карточка. Вас ждут. Чем быстрее вы решитесь, тем лучше. Хочу предупредить, вас никто не обидит.

Жанна взяла карточку и отправилась наверх. В комнате она долго изучала надпись, будто пытаясь прочесть между строк что-то очень важное. Потом случайно, по привычке, бросила взгляд в трюмо и застыла в страхе. Ее руки безвольно опустились.

Не давая себе опомниться, она стала быстро раздеваться. Оставшись нагишом, Жанна внимательно рассматривала отражение. Она была похожа на критика, которому принесли работу исписавшегося мастера. Она могла нравиться себе лишь в отражении восхищенного мужского взора. Но никогда наедине с собой. Она любила себя лишь в чьем-то мнении и чувствах.

В роду, к которому принадлежала Жанна, были испанские евреи - когда-то богатые и солидные банкиры. От них Жанне достались печальные глаза и стать, естественная, невозмутимая. Жанна собрала свои тяжелые волосы в пучок и повернулась к зеркалу боком. Рисунок шеи с высоким затылком в профиль напоминал изображения на помпеевских фресках. Жанна внимательно всмотрелась в глаза и заметила, что с годами они потеряли блеск, а взгляд – былое любопытство к жизни, людям, к себе. Изменился и профиль: из-за потяжелевшего подбородка он стал уже не такой, как говорили мужчины, “милый и нежный”.

Отойдя от зеркала в противоположный конец комнаты, Жанна снова задумалась. Пожалуй, красивыми остались только ноги и руки – слегка полные, длинные, – да небольшая и высокая грудь. Свои плечи, живот и талию Жанна никогда не любила: ей казалось, что из-за общей полноты ей не хватает изящества.

Она подошла к столу у окна. В вазе лежали апельсины, наполовину мозаичные из-за рисунка на стенках хрусталя. Взяв в руки один, Жанна подумала, почему в апельсинах все так совершенно, почему так приятна на ощупь их бугристая корочка. Содрав кожуру и ощутив липкий сок на пальцах, Жанна равнодушно бросила апельсин на стол.

Она решила не ходить к художнику. Закрыла глаза и стала вспоминать. Марсель не понравился сразу: внешне он не был привлекателен – невысок и коренаст, большие руки... Подбородок длинный, губ не видно из-за густой бороды. Ни разу не улыбнулся, а стоял как вкопанный. Шаг тяжелый, но тихий. Взгляд неоткрытый, а тайком и насквозь. Будто все знает о ней. И что-то еще ее отталкивало... Но что именно? Она не могла понять. Что же, что же... И чем она удивила его? Жанна снова посмотрела в зеркало.

Господи, как банально... Она представила, что входит в богатый салон Марселя. Ее взгляд будет отрешен, она ни разу не вскинет “своих испанских глаз”... И еще она будет молчать. На ней то самое платье, которое...

Сколько она потом ни ходила в дом Марселя, она никогда не могла понять, сколько в нем комнат, и даже не пыталась запомнить его интерьеры. Слуга молча вел ее наверх, где располагалась мастерская, и оставлял наедине с художником.

И всегда Жанну сопровождало тяжелое чувство, но назвать его не умела. Она вообще не понимала, зачем приходит сюда каждый день, строго рано утром, пока солнечный свет заливал комнаты радужным сиянием.

В первый раз на ней было то самое платье, которое, как ей казалось, больше всего делает ее женщиной. Оно было темно-красного цвета – именно того оттенка, что больше всего идет зрелым темноволосым дамам. Жанна носила платья с благоговением, словно брала с собой лучших друзей, – рядом с ними она становилась обаятельной, а потому сильной.

Однако Марсель не обратил внимания на ее наряд. Он открыл дверь, а потом сразу отошел к мольберту и стал возиться с красками. Заметив, что натурщица смущена и чем-то обескуражена, – он понял это по рукам, которые, как при первой встрече, безвольно опустились вдоль туловища, Марсель решил сказать что-нибудь ободряющее.

- Идите за ширму и раздевайтесь. Вы будете позировать обнаженной.

Заметив, что эта фраза ничуть не обрадовала женщину, он добавил помягче:

- Лицо я сделаю чуть другим. Так что вас, наверное, никто не узнает...

- И пусть узнают, – громко ответила Жанна, махнув при этом рукой. – Я, мсье Марсель, никого не стесняюсь. Можете рисовать меня каким угодно образом.

Неприятно удивившись своему голосу, она добавила тихо:

- Я вообще привыкла к мужским капризам.

Пока женщина раздевалась, Марсель готовил интерьер: он подвинул мягкий диван ближе к солнечным квадратам у большого окна, так что вместе с геометрическими тенями они легли на спинку и подлокотники.

Все получалось, как надо, и Марсель был доволен. Еще больше он зажегся после того, как на диван легла женщина. Он стоял подле нее и смотрел. Жанне показалось, что она на приеме у врача.

- Солнце режет глаза, – она щурилась на свет из другого окна, которое располагалось напротив. Хуже всего было то, что она не могла следить за взглядом художника. В таком положении женщина была безоружна, словно слепой.

- Это хорошо. Опустите глаза и поверните голову в сторону. Попробуйте прикрыть лицо рукой. Не так... Нет! Поднимите предплечье и повернитесь ко мне боком. Согните ноги. Чуть-чуть!

Он помолчал, наблюдая за рисунком солнечных квадратов на широких бедрах Жанны, и добавил:

- Теперь хорошо.

Сначала было тихо. Жанна не могла видеть, чем занят художник. Потом по шероховатой, грубой бумаге зашуршал уголь – быстро и нервно, в неровном, отрывочном ритме, как спотыкается плохо настроенная скрипка. Очень скоро Жанна устала. Она сказала художнику, что приподнятая к лицу рука уже начинает дрожать - в ответ уголь продолжал свою нервную какофонию. Сначала Жанна делала вид, - играя не столько перед художником, сколько пытаясь обмануть себя, - что в ситуации, в какой она оказалась этим утром, нет ничего странного и неожиданного. Женщина пришла к мужчине, одевшись, будто на свидание, но оказалась обнаженной на диване, абсолютно одна, под пристальным наблюдением человека, которого она видела второй раз в жизни. Подумаешь! Что тут обидного? Это работа. И ничего более. Может, она бы чувствовала себя уютнее, будь на ней платье. Женщина в неглиже, с закрытыми глазами ощущает себя комфортно только, когда рядом кто-то близкий. Если бы позировать в платье... Постепенно нервность уголька передалась и ей. По лицу Жанны потекли слезы – то ли от обилия солнечного света, то ли от обиды и жалости к себе. Спина занемела, стало неприятно тянуть шею, рука налилась тяжестью, будто пыталась удержать на весу кирпич. Грудь и живот охолодели – сетки оконных теней их скрадывали, ломали на четкие многоугольники. “Зачем я пришла?” – думала Жанна, каждую минуту обещая себе, что встанет сейчас с дивана и уйдет за ширму к своему красному платью. А художник пусть ищет натурщицу с более крепкими нервами и мышцами... Но прошел час, а Жанна лежала. Потом, идя по улице, она не могла вспомнить ни своих мыслей во время сеанса, ни вообще себя. Будто и не было в ней женщины – ничего, кроме настоящего момента, которого в принципе не существует. Всегда на исходе, он меняется, меняется до бесконечности. Вечером Жанна поняла, почему художник ей не понравился сразу – он не увидел и не оценил в ней женщины. Во всяком случае, ей так казалось.

Решив жестко и безоговорочно не появляться больше в мастерской Марселя, Жанна на другое утро, точно в то же время лежала на диване, расщепленном желтыми прямоугольниками. На этот раз ей показалось, что время летит быстрее. Рука, еще помнившая вчерашнюю тяжесть, была более уверенной в жесте, который на холсте должен казаться лишь схваченным мигом. Женщина, прикрывающая лицо от солнца, - в этом есть что-то томное и вечное... Это-то и смущало Марселя. Больше всего он боялся вечности. Когда в искусстве говорят о “вечном”, чаще подразумевают прошлое, потому что сам критерий бесконечно идеального формируется только на основе опыта, очень длительного во времени. Например, живопись Боттичелли вечна, а именно – созданные им образы светловолосых райских красавиц всегда будут казаться одним из ярких символов итальянского Возрождения. И всякий, кто станет рисовать точно такие же развевающиеся на ветру светлые локоны и струящиеся полы длинных платьев, всего лишь окажется эпигоном. Иногда использование известных образов, сюжетов и символов называют аллюзией, но мало кто знает, где находится грань, разделяющая банальность и оригинальность мысли, посмевавшей высказать новое о старом и вечном. Поэтому Марсель много марал. Иногда его натурщица слышала, как спадал с планшета очередной картонный лист, гремя при этом, словно весенняя гроза. Закреплялся новый картон и уголь снова музицировал, часто срываясь на высоких тонах – Жанне казалось, что Марсель много чертил. Будто тело женщины состоит не из овальных и круглых форм, а сплошь из грубых многоугольников и полос. Другой художник давно бы поменял позу натурщицы, экспериментируя с “живым материалом”. Но Марсель упорствовал в своем – он боролся с вечностью, чтобы, одолев ее, представить ей же вечное... Жанна так и позировала с приподнятой рукой. Прошло три сеанса. Однажды натурщица услышала, что шуршание угля стало нежным и трепетным. Рука художника ласкала готовую линию, осторожно повторяя ее, уже совершенную и единственно возможную.

Запахло красками и разбавителями – сначала возбуждающе и свежо, потом слишком настойчиво, до одурманивания. Художник открыл одно из окон, и в мастерскую ворвались новые звуки – зачирикали птицы, взволновались кроны деревьев, вдали зашумел оживленный Париж. В этом было столько радости!

Привыкнув с запаху красок, Жанна стала прислушиваться к бою кистей. Большой холст был натянут на подрамник, как сыромятная кожа на ритуальный барабан. Началась новая музыка – до странности знакомая и убедительная. Ей казалось даже, что в этих новых сеансах было что-то от священнодействия: каждый взмах и удар кисти продуман заранее, каждый мазок ложился туда, где ему уготовано место. Ритм ударов менялся от сеанса к сеансу. Чем больше их было позади, тем реже стучали кисти – постепенно они перестали биться в творческом возбуждении, в противоборстве бессилия и замысла. Они нежно и любовно гладили сырую поверхность холстины – Марсель не спеша лессировал рефлексы и блики. Неоспоримость любого движения художника, которое Жанна уже не столько слышала, сколько видела каким-то внутренним зрением, удивляла ее. Но если бы ей сказали, что все это мазня, что так писать нельзя, она бы никогда с этим не согласилась. Нельзя отрицать то, что священно. Впервые она разглядела в живописи нечто сродни религиозному убеждению.

Но своего портрета она еще ни разу не видела. Жанна понятия не имела, в какое произведение вылилась мелодия, которую слушала каждое утро.

Отношения художника с натурщицей складывались непросто. Жанне казалось, чувство обиды постепенно пройдет, если ближе познакомиться с Марселем. Во время второго сеанса она решила задать вопрос, который волновал ее с первого дня знакомства:

- Мсье мэтр...

Обращение прозвучало так тихо, что Марсель, кажется, его не услышал. Он думал, стоило ли вообще делать предварительный рисунок и получится ли потом, если эскиз окажется удачным, воспроизвести его в подмалевке. Иногда бывало так, что эскиз оказывался удачнее законченного полотна. С другой стороны, нужно хорошо проработать позу, как следует узнать тело натурщицы. В конце концов...

- Я хотела поинтересоваться, мсье мэтр...

- Что?.. Вы устали?

Голос художника прозвучал низко и хрипло. С начала сеанса он работал молча.

- Нет, не устала. Мы недавно начали. Рука почти привыкла. Не то, что в первый раз.

- Вы хотели что-то спросить? Или я не так понял?

- Да.

- Ну? – Художник отошел от мольберта и со стороны увидел, что эскиз вымучен, как будто он, Марсель, научился рисовать только вчера. Это не настоящая женщина получилась, это пляжная девица! Ему вспомнились его юношеские штудии.

Откуда такая тяжесть? От почти тошнотворного чувства беспомощности, давно забытого и теперь вдруг напомнившего о себе, Марсель сдернул лист с планшета. Руки внезапно ослабели и задрожали.

Жанна, услышав шорох бумаги, что было уже не в первый раз, сменила позу и громко спросила:

- А почему вы именно меня пригласили в натурщицы?

- Поднимите-ка снова руку. Выше. От нее идет слишком длинная тень – она делает вашу шею короче... Если вам не нравится позировать, так и скажите. Заставлять я не привык.

Жанна почувствовала сильную боль в гландах – их ломил так, будто горло сдавливала та тень, которая, по словам художника, легла на подбородок и шею. Глаза стали мокрыми от слез. Раньше она не была такой плаксивой.

- Я прошу вас... Примите прежнюю позу и придерживайтесь ее в течение всего сеанса. Когда я закончу рисовать лицо, руку можно будет убрать за спину. Не обещаю, что это время наступит скоро. А пока... Или вы передумали?

Итак, она продолжала ходить к Марселю. Впервые Жанна заметила, что такое визуальная мимолетность времени. Природные циклы всегда понимались ею просто: год делился на

сезоны, а сезоны на месяцы и дни. Теперь она стала внимательнее. Ложась на кушетку, Жанна снизу наблюдала за движением солнечных лучей. Сначала они заливали желтым цветом ее тело и тогда, если добавить охры, оно почти напоминало образы гогеновских таитянок. Этот эффект усиливался благодаря расцветке диванной обивки – оливковый, он похож был на спелую траву и прекрасно гармонировал бы с золотистой охрой. Потом, когда на полу вычерчивались ровные квадраты, кожа начинала остывать, и цвет тела становился более естественным, а потому – менее выразительным. В этот момент Марсель бросал уголь и говорил: “Хватит”. К середине работы над картиной Жанна так научилась чувствовать солнечные часы, что угадывала прощальный жест художника с точностью до минуты. Благодаря быстрому движению солнца сеансы продолжались недолго. Казалось, с переходом лучей с дивана на пол художник утрачивал последний – эстетический интерес к натурщице. Он отворачивался от нее, и, закрыв мольберт полотном, выходил из студии. Без должного солнечного освещения Жанна Марселя не интересовала. Заметив категоричность последнего жеста и слова “хватит”, Жанна еще больше почувствовала свою ущербность в глазах этого человека: мало того, что она не интересна ему как женщина, она и волновать его как художника способна лишь короткое время!

Интерес к себе угасал рядом с Марселем и постепенно возвращался с приходом домой.

Каждый раз Жанна спешила в комнату, к окну, где стояло зеркало. Может, она смутно боялась не найти себя в нем или хотя бы часть того образа, который знал только Марсель?

Что он видел в ней?

Жанна настолько привыкла к молчаливой фигуре художника, что перед сеансами постепенно стала раздеваться прямо у дивана, не уходя за ширму. Дома она проделывала это так же, как в мастерской. Медленно, перебирая пальцами маленькие пуговицы, она расстегивала платье, повернувшись вполоборота к зеркалу, успев одно рукой прихватить волосы, - и они рассыпались веером по декольте, а платье падало к ногам. Затем руки безвольно опускались вдоль туловища, а глаза Жанны пристально смотрели в зеркало, словно в объектив фотоаппарата. Так она стояла до тех пор, пока вместо себя в отражении не начинала видеть самого Марселя, одетого в рабочую блузу, с его манерой бесшумно передвигаться по залу, обхватывая большую палитру по всей окружности, так что она упиралась ему в грудь. В другой руке лежала широкая кисть с грубой щетиной – ей так уютно в широкой мягкой ладони, что она, кажется, готова писать и писать один шедевр за другим...

Смотрел ли Марсель на нее в моменты приготовления к сеансу? Замечал ли он, как вошедшая женщина, от которой еще веет свежим ароматом летнего воздуха, вдруг снимает шляпку, развязывая атласные ленты под подбородком, кидает ее на столик вместе с зонтиком, а затем также не спеша закидывает руки за спину, чтобы расстегнуть пуговицы? И все это молча, по общему сговору, как бывает у старых любовников, у которых давно сложился свой сексуальный ритуал. Наблюдал ли он за сменой образа – как из пришедшей с улицы женщины Жанна превращалась в солнечную натурщицу, в томную одалиску?

Он художник и потому не мог не видеть, не понимать происходящих метаморфоз. Жанна была глубоко убеждена в этом. Она неплохо знала мужчин и давно заметила, что именно ценят они в женщинах, когда становятся приобщенными к их туалету. Они волнуются – и их охватывает еще большее чувство нежности и гордости! - при одной только мысли, что становятся свидетелями умирания старого и рождения нового образа любимой. Вот только что она сидела на измятой постели, смущенно поправляя на себе сбившуюся сорочку, а теперь – вертится у зеркала, расчесывая волосы, и лицо ее уже не сонное, не домашнее, не для одного мужчины, а какое-то приглаженное, общее, светское и в глазах уже нет былой нежности. Но это не долго, до вечера.

Женщины переменчивы. В этом их загадка. Постичь ее можно и в момент обнажения, в чем мужчины с удовольствием принимают участие – для них помимо прочего важно сотворчество в обряде превращения. А еще обнажение женщины – это узнавание истины, скидывания маски. Порой и не одной.

Когда мужчина пресыщается этой метаморфозой, он придумывает другую – перетасовывает лики, примеривая их к облику женщины. Вместе с купленным платьем, шляпкой, пудрой меняется не только внешний облик, но и поведение женщины, интуитивно стремящейся к стилистической законченности.

Итак, осознав непостоянство женского “я” как личины, которая накидывается лишь на время, мужчина не теряет интерес к любимой. Он тронут до глубины души приобщенностью к тайне превращений и потому преисполнен искренней благодарности. Так почему же Марсель, каждое утро наблюдающий за тем, как раздевается и снова одевается его модель, остается к ней равнодушен? Где его профессиональный азарт?

Жанна долгое время не знала ответа и каждый день, стоя у зеркала, вглядывалась в отражение и видела в нем Марсея, сосредоточенно мешающего краски на своей большой солнечной палитре.

Как хорошо, думал он, что пигменты не надо растирать, смешивая их с маслом. Не появись в магазинах тубы с красками, эпоха импрессионистов, любящих писать на пленере, никогда бы не настала. На растирание красок уходит много времени, а значит остается немало часов на сомнения и тщательный анализ проделанного труда. Марсель не любил фундаментальности, уничтожения того, что практически готово, не любил переделывать. Современным художникам прощалась некоторая небрежность. Абсолютно идеально выполненная работа считалась скучной. Слыша в адрес своих портретов – “Как живая!” – Марсель обижался, словно его обвиняли в пошлом пристрастии к классике.

Долго простояв в бездействии у мольберта, прижав край палитры к груди, Марсель вдруг решил задать Жанне праздный вопрос:

- Чем вы собираетесь заняться в будущем?

- Я?

- Да, вы. Кроме нас здесь никого нет. Разве что, они. – Художник обвел кистью пространство мастерской, со стен которой множеством женских глаз смотрели бывшие натурщицы Марсея.

Жанна убрала руку от лица и ничего не ответила.

- Почему вы молчите? – В голосе художника впервые не было грубой ноты. Постояв в тишине еще немного, он взялся за широкую кисть и, окунув ее в жидко разведенную светлую охру, начал точными движениями писать подмалевки.

Запах скип***) мешал сосредоточиться и Марсель открыл окно.

Теперь вместо одной Жанны у него было две. Та, которая разместилась на бумаге, вызывала у Марсея чувство раздражения. Он все еще не был уверен, что ему нужна именно эта поза, боялся борьбы с вечностью.

Настоящая Жанна, ставшая теперь источником цвета, переменчивого, едва уловимого человеческим глазом, начала интересовать художника с большей силой. Каждый сеанс он весь отдавался изучению светотени, намереваясь использовать в работе лишь малую часть палитры. Каждый мазок должен быть ясным и звучным, один дополнять другой, высвечивая до хрустальной чистоты весь образ, который собирается не столько формой, сколько цветовой гаммой. Это и будет его конек. Пусть кто-нибудь сделает лучше!

В тот день Марсель больше не разговаривал с натурщицей, но во время второго сеанса живописи спросил, есть ли у нее дети и муж. Жанна ответила – нет.

Почему же все-таки он решил, что нашел настоящую женщину? Что общего у этой современной Венеры с Евой, не познавшей греха?

Этот вопрос терзал его и мешал работать в полном мире с собой. Иногда, вытирая кисти перед очередным сеансом, он внутренне надеялся, что женщина больше не придет - устанет от его холодности, от непонимания сути происходящего в студии. Марсель давно воспринимал свою работу как ритуал, странный постороннему глазу, тем более женщине, ранее не знакомой с таким родом искусств. Иногда он пытался представить себя со стороны как обыватель: большой, тучный бородатый мужчина держит в коротких пальцах тонкие кисти и возится с красками на круглой палитре, которую, если не придерживать животом, вообще можно уронить. Наверное, он похож на ребенка, смешного неуклюжего, увлеченного бесполезной игрой...

Если она однажды не придет, станет проще отказаться от идеи. Тогда он забросит живопись и успокоится. Как, например, Милле, который, исчерпав себя в деревенских сюжетах, постепенно вышел из моды, и в старости практически перестал писать, во всяком случае, не

выставлял полотна. Зато сколько у него было последователей! Тот же Ван Гог... Но она появлялась снова и снова. Слуга закрывал дверь и натурщица шла к дивану. Он бы крикнул: “Уходите!”, но Жанна почему-то взяла привычку раздеваться прямо на его глазах, медленно и спокойно. И это обезоруживало. Нельзя выпроводить голую женщину. Когда-то Марсель не мог избавиться от мексиканки – сначала мешало громоздкое зеркало, потом ее болезнь. А, может, ни то, ни другое, а глаза-вишни... Нет, вспоминать об этом трудно. Теперь он не в силах выпроводить другую. Безоружная женщина вызывает у мужчины слабость и безволие. А у художников – еще и вдохновение, что хуже всякой слабости. Но сейчас, кажется, не тот случай: отдался работе мешают сомнения. Однако после вопроса о будущем Жанны – он совершенно не мог этого представить, так как ничего не знал о жизни новой натурщицы, – в голове Марселя будто немного прояснилось. Возможно, она не дала ответа по простой причине: завтра представлялось туманно или Жанна просто не думала о нем. Как его идеальная женщина? Впрочем, не в этом ее сходство с Евой. Нет!

Марсель бросил тяжелую палитру на стол. Жанна вздрогнула, но не убрала руки от лица. Он успел подумать: “Умница!”, а потом сел на стул. Внимательно всмотрелся в фигуру лежащей на диване женщины, словно перед ним была не живая натура, а кусок мрамора. В мастерской стало совсем тихо. Почему никогда они не говорили хорошо, как приятели, как люди, заинтересованные одним делом? Каждый раз после краткого разговора или как сейчас, при внезапном шуме, в облике Жанны появляется что-то новое. Наверняка после сеанса в ее душе остается осадок, она чувствует себя недалекой, некрасивой. Вот и сейчас как-то сникла, осела в плечах, кажется, вот-вот перевернется на живот и затрясется от рыданий, пряча лицо в ладонях.

Однажды она не придет. Сломается.

Впервые этот надлом Марсель заметил еще у мадам N, когда Жанна стояла перед ним, безвольно опустив руки. Говорят, она была нездорова. А под его пристальным взглядом вообще сникла, осела, гордая осанка исчезла.

Как легко нарушить ее покой! Привычным взглядом художника он схватил черту надлома, запомнил ее анатомию, но не ожидал увидеть повторно. И вот теперь, после брошенной на стол палитры, Марсель жадно вбирал в себя ту Жанну, которую сейчас осознал. У нее длинная и хрупкая шея и голову она держит слегка книзу как человек внимательный ко всему, что происходит вокруг. Но не внешние события волнуют ее. Жанна ни разу не поинтересовалась размером оплаты за услуги натурщицы, не задавала вопросов: “Кто эти женщины на стенах?”, “Когда я увижу свой портрет на выставке?” Она живет внутри себя и так отгорожена от мира, что, наверное, не придает значения ни работе у мадам (кстати, он не мог подумать о Жанне плохо), ни тому, что происходит сейчас. Нет, конечно, думает об этом, но иначе, не как большинство заурядных женщин.

Итак, шея, шея... Дальше. Плечи красивые, полные, хорошо гармонируют с широкой грудной клеткой и развитой чувственной грудью. Но нет в них силы и уверенности. Стоит грубо отозваться на реплику – и вот: плечи Жанны хотя и остаются развернутыми, но уже напряжены, шея кажется прозрачной, груди – стыдливо голыми, а глаза и губы – вдруг печальными и вопрошающими.

Под давлением любых жизненных неприятностей эта женщина готова сломаться, разрушиться. И достаточно самого малого – даже грубого слова, нетерпеливого жеста, равнодушия. Даже простой вопрос о занятиях в будущем лишил ее позу покоя и расслабленности.

Марсель так задумался, что забыл о реальной Жанне. Она лежала в прежней позе, ничего не видя и, как всегда, не понимая происходящего. “Хватит”, – наконец произнес Марсель, не поднимаясь со стула. Натурщица отняла руку и поймала взгляд художника, вдруг покраснела и не спеша направилась за ширму.

Внутренний надлом как часть образа Жанны. О нем он думал весь день, пока не сжился с новым обликом натурщицы. Мысль об идеальной женщине уже на так волновала. Прежний замысел стирался в памяти, но Марсель не жалел об этом. Он снова мечтал о Еве, уже другой.

Во время последующих сеансов художник снова старался увидеть интересующую его деталь. Сказав неосторожное слово, изучал анатомию надлома и делал это с таким равнодушием, словно рассматривал манекен, на котором криво сидит платье. Особенно ему полубилось слово “хватит”. Оно заметно раздражало Жанну. Натурщица не спеша вставала и, прикрыв ладонями бедра, шла за ширму. А Марсель тем временем жадно следил за каждым ее движением, словно подросток, впервые подглядевший голую женщину.

Вот так, под давлением жестокой и эгоистичной наблюдательности, мало чем отличавшейся от внешней окаменелости Марселя в момент расставания с очередной любовницей, Жанна постепенно становилась похожей на воображенную им Еву. Художник выдавливал вдохновение на холст и молчал. Холст гудел, как кожа ритуального барабана.

Марсель пытался представить счастливую Еву в раю. Как это выражалось внешне? Мысленно рисуя блаженное лицо, Марсель поморщился от отвращения. Нет ничего более бессмысленного, чем счастье, особенно в улыбке, демонстрирующей зубы. На многих теперешних фотографиях и живописных портретах белозубые оскалы смотрятся так же нелепо, как улыбка чеширского кота, затерянная где-то в листве дерева. Разве Ева способна смеяться? Ни на одном знаменитом портрете, созданном за столетия мировой культуры, нельзя найти хотя бы одну совершенно открытую улыбку. Смех брутalen! Только трагедия достойна уважения и вечного слепка в скульптуре, фреске, рельефе, живописи. А комедию можно только ломать.

Нет, в раю Ева была другой. Там она познала Творца, что само по себе обременительно. Почему – объяснить сложно. И в этом состоянии нет ничего общего с блаженством, близким к религиозной истоме. Похоже, Ева никогда не была счастлива. Даже не зная памяти и не ожидая будущего. Отсутствие времени не сделало бы человека счастливым. Но при чем тут натурщица Жанна?

Вернувшись к исходной мысли, Марсель понял, что совсем запутался.

Потом, посмотрев на лежащую фигуру, щедро залитую солнцем, вспомнил, что Жанна тоже обременена. Почему свет усиливал это ощущение? Гоген был прав, написав Иисуса лимонным кадмием. Последнее полотно Ван Гога было грязно-желтым в переспелых колосьях и слепящим в месиве предгрозового неба. И – немного красного вина на дороге. Солнце любит блаженных. А они разве счастливы?

- Жанна, почему у вас не было детей? – он старался говорить тихо и спокойно, чтобы вызвать доверие натурщицы.

Неприятно зазвенела тишина. Потом за окном напомнил о себе Париж. Марсель посмотрел вперед и обмер. Обнаженная на диване раскалилась добела и стала похожа на мраморное изваяние. Ее круглый живот и высокая грудь явно диссонировали с отчетливым надломом шеи. Художник едва не бросил кисти и палитру, чтобы подбежать к женщине и поймать ее за плечи. Мрамор оказался мокрым песком и готов был расстаться с вечностью. Впервые за время их знакомства Марсель сильно испугался.

- Я больше не буду спрашивать об этом.

Художник оглядел ошметки солнечных квадратов на своих ладонях. Он сидел на горячем диване и слушал, как шуршит платье женщины. Теперь она не хотела одеваться при нем. Это понятно. Марсель не знал, что Жанна была матерью.

“Она настоящая женщина”, - художник стоял у холста, долго всматриваясь в желтое месиво на шее натурщицы. После ухода Жанны он наконец расслабился, вернулся к обычному состоянию стороннего наблюдателя. Отойдя в сторону и прищурился, он с удовольствием заметил, как беспорядочно наложенные мазки укладываются в объемное изображение. Уникальный эффект, зрительный обман, изобретенный импрессионистами, подсказал нужное слово: “Выстраданность”.

Художник был явно рад ее появлению. Он не был одет в обычную просторную блузу. Под аккуратно застегнутым жакетом угадывался крупный живот.

- Теперь я вижу вас немного иначе, - сказал он, как только женщина переступила порог мастерской.

Жанна задумалась.

- Что вы хотите сказать?

- Вы не поймете...

Жанна не сводила с него любопытного взгляда.

- Вы теперь не похожи на мою прежнюю Еву.

- Что?

- Я же говорил, что это не понятно. – В голосе художника не было привычного раздражения. – Раздевайтесь.

Жанна медлила. Ее смущал нерабочий наряд Марселя. Сейчас он - случайный мужчина. Но, выкинув из головы ненужные мысли, она стала готовиться к сеансу.

Теперь у Жанны появился новый повод для размышлений. Чем больше она общалась – если это слово вообще удобно в данном случае – с художником, тем интереснее он становился в ее глазах. Она не могла отказать себе в эксперименте, который позволила с самого начала.

Оборвать сложившиеся отношения, пусть стоящих немалых слез, было бы глупо.

“Я - Ева?” На губах Жанны заиграла улыбка. Сначала не понимая, отчего же хорошо и легко вдруг стало, Жанна улыбалась просто так. А потом, когда поняла причину своего состояния, едва сдерживалась от гогота, от торжествующего женского смеха. Она вспомнила интонацию в голосе Марселя, сказавшего: “Вы теперь не похожи на Еву”. Так говорит человек, долго убежденный в правоте своей мысли, а потом вдруг разочаровавшийся в ней. Или, нет, скорее, - сбросивший ее, словно тяготившее ярмо. Конечно, долгое время Марсель не мог видеть в ней той женщины, которая приходила на сеансы. Он ни разу не поинтересовался ее прошлым. Только недавно начал задавать вопросы, пусть не совсем уместные, иногда грубые. Но в них уже заметно проявление интереса.

“Да, он не видел меня. Перед ним была Ева!” Надо же было такое придумать! Радостное открытие так увлекло Жанну, что она едва не заметила вопроса художника, отстранившегося от мольберта.

- Что?.. Что вы говорите?

- Раньше я не видел, как вы улыбаетесь.

Марсель так и не снял жакет. Он писал в выходном костюме, который, кстати, был на художнике в день их знакомства.

- Тогда вы написали бы другую женщину. Например, Мальвину. – Губы Жанны дрогнули, как у детей во сне. - Но не ... Еву.

Два года назад умер от чахотки один английский художник-график. Ему было всего двадцать шесть лет. Странно, но все утро того дня, когда Марсель дописывал Жанну, он думал о нем. Вспоминал увиденные когда-то иллюстрации в “Желтой книге” и “Савое”, издаваемых в Великобритании. Марсель был так потрясен, что сделал несколько копий – так легче влезть в душу другого художника, распознать секрет мастерства, сильнее удивиться гению. Сюжеты этих рисунков совсем другие, хотя и в них много женщин. Но они совсем непохожи на тех, что любил писать Марсель. Тот англичанин, судя по всему, и не знал женщин, выдумал своих, ненастоящих. Лишь немногие жизнерадостны или просто кажутся живыми. Большинство же словно вышли из глубин сознания, мифической памяти человечества. Это не образы, а фигуры, почему-то притягательные до жути.

Когда он умирал, то написал письмо, в котором просил издателя уничтожить всю серию эротических листов, подготовленных по одной древнегреческой комедии. Марсель не видел этих рисунков, но был наслышан и представлял их очень забавными. Наверное, они гораздо веселее, чем портрет мексиканки. (Как он писал ее, страдающую? И что еще можно было сделать для нее? Подготовить наброски, поработать маслом. Все.)

Марсель часто вспоминал слова того юноши, сказанные по поводу творческих поисков молодых английских импрессионистов. Многие из них, говорил он, почти не знали разницы между палитрой и полотном.

Теперь это не принципиально. Может, пришла пора выставлять не холсты, а рабочие

материалы? Что еще скажет искусство? Палитра художника не менее интересна, чем записная книжка поэта. В них столько искренности!

Все, все. Надо думать о своей работе. Он стал сентиментален лишь потому, что портрет почти готов и скоро появятся зрители и ценители. Где-то в широком нутре Марселя, теперь похожем на пустой тюбик, толкнулось новое чувство – совесть создателя. Если бы Господь забыл слепить Адаму вторую ногу, тот вынужден был бы ковылять на одной, опираясь на палку. А это так невыразительно! И Бог страдал бы ... А вдруг он, Марсель, что-то забыл или не увидел? Страшно.

Жанна уже не позировала с приподнятой рукой. Догадывалась, что скоро сеансы закончатся. И потому не удивилась, когда в дверь мастерской толкнулся первый посетитель. Вероятно, так должно быть, когда картина почти готова. Ей требуется критик. Слово это, новое для нее, Жанна услышала из уст самого критика, возвестившего о своем появлении.

- Привет, Марсель. – В салон вошел низкорослый человечек, придавленный тяжелой широкополой шляпой. – Привет, я критик.

Шляпное ярмо, видимо, было настолько трудно носимым, что человечек почти не поднимал головы. Потому глаза его было видно так же нечасто и мимолетно, как свет в шторке фотообъектива. Плечи критика, поддерживающие тяжелый подбородок, казались непропорционально широкими. Свое приветствие он произнес так тяжело, словно был атлантом, который по ходу своей тяжелой профессии вынужден еще и разговаривать. Впрочем, об этом его не просили. Марсель хотя и сложил кисти в стакан с разбавителем, оставался стоять у мольберта. И молчал. Жанна, почувствовав неладное, не стала менять позы, забыв о своей наготе.

- Марсель, ходят слухи, - человечек споткнулся у порога, обомлев от вида обнаженной женщины, свободно лежащей на диване, - ходят слухи, что ты пишешь очередной шедевр для Всемирной выставки. Что-то... э-э, - он умно сощурил глаза, - в духе э-э... Веласкиса или Тициана. Только непристойное, похлеще “Завтрака на траве”...

Говорил он медленно, смакуя слова, как куски горячего яблочного пирога, и чмокал от удовольствия, произнося “Веласкес”. Это уже не были муки атланта, скорее, - пир кулинара. Его башмаки по-прежнему елозили у порога и не остановились, когда их обладатель услышал слово “Вон!”

Плечи Жанны вздрогнули, но не от страха, а от удовольствия. Она ожидала этот жест, как во время спектакля угадывают момент кульминации, но была удивлена внезапно изменившимся ходом действия:

- Ха! Я понимаю, Марсель! Я знал, что ты так скажешь! – Человечек присел и стал похож на глазастый гриб. Руками он хлопнул себя по ляжкам. – Я знал! Я знал! И потому задам еще один вопрос. Ходят слухи, что ты опять взялся писать проституток.

Критик вел себя так, словно давным-давно знал Марселя. На самом деле он был слишком молод, чтобы вести знакомство с тем поколением французских живописцев, которые стали писать после первого сомнительного успеха импрессионистов. Мэтры нелегко впускали в свой круг молодых критиков, предпочитая имена известные, например, Эмиля Золя.

Марсель ничего не ответил. Не спеша он отошел к стене, увешанной полотнами. Жанне художник вдруг показался старым и некрасивым. Она не сводила с него глаз.

- Знаешь, что думает мэтр Дега?

- Наплевать. Убирайся. – Марсель был спокоен и не менял позы.

Человечек, не сходя с места, чмокал губами, доедая свою стряпню, напичканную сплетнями. Он наслаждался мыслью о том, что заинтересовать собой известного, когда-то скандального художника все-таки удалось. Марселя он считал “тяжелым”, как принято говорить в среде журналистов, то есть не охотно идущим на контакт с прессой. Как-то в рецензии на очередной вернисаж, куда по просьбе немногих друзей Марсель отнес несколько старых и не очень хорошо известных полотен, он назвал его “подраженцем”. Слово выдумал сам, чем остался очень доволен. Однако редактор газеты, прочтя набранную статью, молча вычеркнул корявого “подраженца”, за что от молодого рецензента получил клеймо “недалекого и старомодно мыслящего” человека. О нанесенной обиде знала вся семья критика.

- А Дега сказал, что ты подраженец!

Последовала пауза. Критик молчал для эффекта, а художник – по своим, не совсем понятным для Жанны соображениям. Ей захотелось встать и уйти за ширму, а потом, с силой толкнув незваного гостя, хлопнуть дверью.

- Катись-ка ты к черту. – Наконец услышала она. Марсель отвернулся к окну.

- Зря, очень зря. Я работаю в отделе культурной жизни Парижа “Фигаро”. – В голосе критика была мудрость, которая готова пережить все, даже прямые оскорбления. – И готов дать несколько дельных советов. – Он многозначительно помолчал. – Во-первых, пора отказаться от старой темы – голые женщины теперь никого не удивляют. Во-вторых, бытовая тема изжила себя еще в творчестве Тулуз-Лотрека и того же Дега. Некоторую, я бы сказал, э-э... значительную лепту, внес и ты своим вниманием к женскому будуару. Если бы не излишняя тяга к сложному сочетанию цвета и освещения, что слишком бьет в глаза, и оставляет ощущение излишней цельности и законченности творческого процесса, можно было подумать, что это нечто такое, что... Эх, Марсель, оставь ты своих желтых баб!

Последняя фраза была произнесена уже на лестнице, ведущей к выходу в вестибюль. Сначала туда полетела шляпа критика, а потом и он сам.

- Одевайтесь.

Жанна и сама поняла, что сеанс окончен. Марсель допишет ее в другой раз. Она ушла за ширму и, не спеша перебирая белье, слушала, как художник ходит по комнате. Бой кистей ей нравился больше. Шаги затихли совсем близко.

- Надеюсь, вы понимаете, что оскорбления этого ничтожного типа не стоит принимать всерьез...

Жанна обернулась и испугалась. Марсель стоял у ширмы и смотрел на нее.

Он хотел убедиться, что женщина не обижена, а для этого надо видеть ее глаза. Не думал, что выйдет нечто неприличное. Он покраснел и отвернулся. Сел на диван и закрыл глаза. Раз за разом прокручивал в памяти картину, подсмотренную минуту назад. Жанна держала в руках платье, готовясь одеваться. Услышав за спиной голос, она развернула торс и увидела Марселя. В выражении лица Жанны мелькнуло то, что он никогда раньше не знал в женщинах, – детская беззащитность и заранее готовая покорность перед неизбежностью обладания. Глаза стали огромными, подбородок дрожал, стирая очертания губ. Она была готова размякнуть, словно девочка, для которой неважно, идут ей слезы или нет. Но не это поразило Марселя. Он будто впервые увидел ее груди. Какие они нежные и трогательные. Постичь тайну женских грудей не смог еще ни один мужчина. В них – вся слабость женщины, все то искреннее, что обычно скрыто платьем, жизненным опытом и характером. Существует чисто мужская иллюзия: хочешь узнать правду о женщине – сними ее одежды.

Но сейчас он думал не просто о женщинах. Его волновала только Жанна и ее телесность.

Когда натурщица вышла из-за ширмы, она показалась той, бывшей в день знакомства. Только сейчас она в шляпке и руки спрятаны в перчатки. Словно решаешь начать все заново, Марсель спросил:

- А чем вы заняты сегодня вечером?

- Ничем... - В глазах Жанны стоял туман. Она не видела перед собой ничего, кроме дверной ручки из бронзы. Оказывается, та была сделана в виде собаки с высунутым языком, проколотым большим кольцом. Вполне забавно. – Я ... я рано ложусь спать.

С этими словами она дошла до выхода из мастерской и слабо дернула за кольцо. Дверь легко поддалась.

Как всегда, помня об очередном сеансе, Жанна проснулась рано. Однако вставать совсем не хотелось. Приближалась осень. Это было заметно не потому, что солнце стало скупее. Сонная истома, легко покидающая тело в летнее утро, теперь никак не отпускала, и даже одеяло впервые за долгое время перестало быть громоздким и жарким. Что будет с солнечными квадратами в студии Марселя зимой? Да и нужны ли они теперь?

Жанна уснула с беспокойными мыслями о художнике и очнулась с ними же. Она была

разочарована.

... Однажды родители вернулись с прогулки и сказали, что после обеда будет секрет. Ожидание чуда продолжалось два часа. Жаннет вспоминала, как горели мамины глаза, когда она упомянула о секрете, как в одну из спален осторожно отнесли большую, маленькую и еще более маленькую коробки, вероятно, тяжелые. После обеда мама вдруг решила, что секрет лучше показать перед ужином – именно тогда она будет в лучшей форме. Но отец и дочь были против. Ожидание стало невыносимым. В предвкушении счастливого разоблачения тайны Жанна почти не могла есть и потом чувствовала себя ослабевшей, как это было, когда в доме появилась новая няня. Маму уговорили и она ушла в спальню и не выходила оттуда довольно долго, шурша упаковочной бумагой и чем-то еще. Наконец она вышла в столовую. Жанна едва узнала ее. На матери был новый осенний костюм из твида в широкую серую английскую клетку с коротким по моде пиджаком и длинной юбкой до пола, спадавшей высоким воланом. Новой оказалась и шляпка – такие продавали только в самых модных салонах – и серые перчатки из тонко выделанной замши. Мама приподняла подол юбки и там сверкнул каблук новых высоких башмаков. Она сияла улыбкой и ходила по комнате, игриво задевая отца. Жанна в ужасном предчувствии, скорчив личико, тихо спросила: “А где же секрет?” Родители посмотрели на нее и – громко рассмеялись, аплодируя друг другу...

Так же было и с Марселем. Жанна сама придумала секрет. Он получился из первой обиды, когда ее едва заметили, уложив на диван, словно пустой манекен, и – молчания, царившего в мастерской почти все время. Оно не нарушилось и в тот момент, когда Жанна задала самый женский из всех женских вопросов: “Почему художник выбрал именно ее?” Сдержанность стареющего мэтра постепенно стала казаться шармом, с помощью которого и держалось равновесие их необычных отношений. Художник оставался Сфинксом – цельным и вечным, со всегдашней палитрой и ритуальной мелодикой за мольбертом – пока не обнаружилась ему мужская природа, самая обычная и банальная. Секрета больше нет.

Жанна собиралась и думала: “Приду и скажу: “Вы совсем не тот мужчина, который мог бы очаровать меня”. Или нет, говорить ничего не стану. Сама останусь загадкой – самой большой загадкой в жизни известного парижского живописца”. Сценарий ожидаемой встречи так и не успел оформиться. Постучала служанка и, войдя в комнату Жанны, сказала:

- Мадам, на улице подошел мальчишка и отдал вот это письмо.

Жанна прочла: “Прощайте! Полотно почти закончено и нужды в сеансах больше нет. Если жюри примет работу, можете увидеть ее через четыре недели в одном из салонов Всемирной выставки. Чек получите через моего человека. Марсель”.

... Жанна стояла на одном из балконов, откуда открывался вид на ближайшие залы Всемирной выставки, и обмахивала лицо веером. Проведя здесь больше часа, она поняла, что найти в гуще посетителей и бесконечной чередой картин одну нужную, будет сложно. Вспомнилась фраза, оброненная однажды скупым на слова Марселем: “Ежегодно надо убивать по тысяче художников”. Интересно, кого стоило помиловать? Если опираться на вкусы публики, то она, как заметила Жанна, особенно часто задерживалась у полотен, где изображена цветочная несурезица, только вошедшая в моду, или у обнаженной натуры – и то не у всякой. Сойдя вниз, Жанна вклинилась в одно из цилиндрических течений и поплыла, покорная вкусу масс.

Много раз, сливаясь с головными уборами, мелькали обнаженные: одни спали, закинув руки за голову, другие просыпались, нежась в постели, третьи сидели, прикрыв лобки и пристально глядя на художника и зрителя, четвертые всех игнорировали и просто мылись, сидя в тазу на корточках. Последние, наверное, из солидарности, вызывали особенное сочувствие Жанны. Через некоторое время ей удалось прибиться к толпе, которая собралась у довольно-таки небольшого полотна. По сравнению с встреченными ранее, когда поражали не столько размеры, сколько замыслы – исторические и групповые сцены со множеством планов и фигур, – эта картина выглядела совсем скромно. И все же привлекала внимание многих. Устав до головокружения, Жанна с трудом пристала к ним, дожидаясь, когда впереди стоящие поплывут дальше. Выкраивая по очереди то один, то другой кусок светло написанного холста, словно собирая мозаику, ей наконец удалось узнать себя. Жанна впервые увидела работу

Марселя.

На картине была изображена женщина действительно очень похожая на нее. Динамичные, широкие мазки, образующие квадраты от оконной рамы, казалось, были нанесены художником, который писал и любил одновременно. Любил губы, грудь, шею, живот женщины, с которой проснулся утром на тесном диване. Одной рукой она слегка прикрыла глаза, прячась от бьющего в лицо яркого солнца, отчего на шею и плечо падала легкая тень, и смущенно улыбалась. Другую руку с согнутым большим пальцем положила – лишь на миг – на спинку дивана, собираясь встать. Наверное, не пряча ногти и минуя графин с прозрачным солнцем внутри (его художник написал на переднем плане справа вместе со столиком и кусочками бисквита на нем) она подойдет к любовнику, прижавшись к нему всем нагретым телом.

Остро, до боли почувствовав себя любимой, Жанна переполнилась желанием поделиться счастьем. Она повернулась к позади стоящим и сказала:

- Это же я! Посмотрите, разве вы не узнаете? Она и я – одно лицо!

- Мадам, простите, но вы уже видели? Тогда отойдите в сторону.

- Вы не понимаете... Это я!

- Что вы говорите! Не стойте здесь – задавят.

- Я сейчас объясню...

- Дайте пройти, наконец!

- Не кричите на меня!

- What is it? – поинтересовался некто по-английски и, взяв Жанну под локоть, неправильно делая ударение на слове “мадам”, отвел в сторону от гущи все прибывавших зрителей.

Жанна пыталась вернуться к картине, но безуспешно - ее живописная копия привлекала больше внимания, чем она сама. Мимо прошли две женщины, из разговора которых долетело несколько фраз:

- Видишь, а ты говорила: “Исписался, исписался”. А Марсель, старый бабник, отгрохал очередной шедевр!

- Да, ничего смотреться. Дорого. Интересно, какая дура позировала ему?..

2006 год.